

# Игорь Шесков "Мадам Лили"

Мадам Лили

Я шел по улице. Рядом со мной шел дождь.

Улица начала медленно подниматься. Как разводной ленинградский мост.

Поднималась и поднималась... и встала наконец вертикально как мост в небеса.

В последний момент я уцепился за газовый фонарь и повис на нем как капелька росы на соломинке. Я сверкал и переливался светом.

Потом не выдержал, упал и понесся как метеор в космическую пустоту.

Дождь несся за мной, как рой ошалелых ос.

...

Охота была в самом разгаре. Десятки нагих охотников неслись, потрясая длинными тяжелыми копьями, улюлюкая и громко свистя, по улицам города.

Дичью был я, огромная белая такса. Тучная, неповоротливая.

С большими висячими усами.

Даже если бы я мог бежать, мои короткие ноги не спасли бы меня от этих молодых парней, изнывающих от охотничьего азарта и жажды крови. Но бежать я не мог — одышка, старость, злоупотребление мучным давали себя знать.

Я решил прикинуться мертвым. Лег на спину, закатил глаза, выпучил живот, сложил лапы на груди, застыл и перестал дышать. Я слышал как охотники топали своими ножищами по мостовой, старался не вздрагивать от их коротких гортанных криков. Потом все затихло. Вокруг меня воцарилась мертвая тишина. Через минуту я не выдержал, вздохнул и открыл глаза...

Охотники стояли вокруг меня и жадно разглядывали жирную дичь круглыми красными глазами. Их правые руки с копьями были задраны вверх, они были готовы поразить меня в сердце. Я сжался, задрожал и пустил ветры.

Десятки тяжелых копий с бронзовыми наконечниками вонзились в мое белое тело.

...

Дом ужаса.

На его крыше сидел слон, похожий на паука. Он ощупывал дом десятками своих

омерзительных длинных хоботов и смотрел на меня восемью выпученными глазищами. Я понял его план. Он хотел спуститься с дома по фасаду и наброситься на меня. Но это ему не удалось. Он был слишком тяжел. Слон упал на асфальт и разбился. Его окровавленный хвостик вздрагивал, как рука застреленного скрипача.

Я подошел к заколоченному окну и заглянул внутрь. Обезумевшие домовые грызли кости мертвой старухи, сидящей в кресле-качалке. Кресло качалось, качалось, качалось.

...

Началось это давно-давно, тогда, когда мать ставила меня в угол за мелкие домашние провинности. Я стоял и смотрел на наши старинные обои с барочными завитушками и кружками. Смотрел, смотрел...

И тогда оттуда, из мира за стеной, на меня начинали глядеть ОНИ. Через кружки на обоях.

Кружки превращались в глазки. А потом из стены вылезали тигриные или акульи морды и страшно разевали свои пасти, усеянные неправдоподобно большими зубами.

Из угла выбегали крысы с синими ленточками, обвязанными вокруг толстых шей и барсуки в красных лакированных сандалиях.

На обоях открывалось квадратное окошечко и из него выглядывала огромная жаба.

Бороться с этой нечистью мне приходилось одному — взрослые не видели ничего. Однажды, двухметровая оранжевая змея, выползшая из моего угла, вползла в полуоткрытый рот моей бабушки, а затем вылезла из ее уха. Бабушка ничего не заметила.

...

Ворота ада.

Так я звал про себя дом напротив. Рядом с его парадным входом пропадали люди. Я видел, как они исчезают. Как будто их всасывал пылесос. И в то же мгновение тот же адский пылесос выбрасывал их назад.

Они поправляли одежду, встряхивались как псы и шли себе дальше как ни в чем ни бывало.

Я знал, что парадный вход служил воротами в ад.

Изнывающие от скуки дьяволы затаскивали через него прохожих в преисподнюю. Чтобы мучить их там, как злой ребенок мучает котенка.

Как долго они забавлялись с своими жертвами я не знаю — в перпендикулярном времени столетия длятся лишь мгновения. Потом, насытившись вдоволь ужасной забавой, они выталкивали несчастную жертву назад, в наш мир.

Человек, побывавший в аду и вспомнить

ничего не мог. Ни синяков, ни ран не оставалось на теле.

В этом доме теперь размещалась диакония. Я видел, как люди в черном с суровыми бледными лицами, сидя за гигантским овальным столом, часами слушали отчет о работе с малолетними преступниками такого же как и они пастора в темной одежде с суровым бледным лицом.

...

Дома без удобств.

В этих бедных домах без удобств жили раньше ткачи.

После долгой, мучительной работы на ткацких станках они приходили домой и хотели воспользоваться удобствами, но удобств в этих домах не было.

Поэтому ткачи пользовались удобствами только на фабрике, а дома смотрели телевизор, ели, спали и терпели.

Терпели, терпели, терпели...

А утром быстро бежали на фабрику.

Даже иногда подпрыгивали.

Свистели и гудели как локомотивы.

У-уу-ууууу!

...

Проезжающий мимо велосипедист посмотрел на этот дом.

Дом был ему знаком, ведь он прожил в нем пятнадцать лет. Он жил в нем, пока его не сбил автомобиль напротив цветочного магазина.

Велосипедист был похоронен на городском кладбище недалеко от крематория святого Евстафия. С тех пор он ездит по улицам города на своем старом велосипеде фирмы «Диамант».

Иногда он оставляет велосипед на улице и входит в этот дом. У меня ни разу не

хватило духу посмотреть, что он там делает.

...

Эта фабрика была закрыта двадцать лет назад.

Но из ее высокой трубы все еще поднимается дым, в ее окнах мелькают зловещие фигуры. По ночам в фабричные ворота въезжают десятки грузовиков...

Но ни один грузовик не выехал из фабричных ворот за последние двадцать лет.

Под фабрикой был проложен туннель, его залила вода из речки. Грузовики ржавеют в туннеле под водой. Внутри их кабин плавают жирные желтые рыбины.

Рыбы фосфоресцируют, и в этом зыбком свете хорошо видны разложившиеся трупы водителей грузовиков.

...

В этом доме жил после войны людоед. Его вечно терзал волчий голод.

Он съел соседку.

Потом соседа.

Потом их сына.

Потом и их собаку.

Затем он съел свою двоюродную сестру.

Пригласил ее отведать пирожков, затем убил, изнасиловал и расчленил.

Когда его арестовывала полиция, он жарил почки другой своей двоюродной сестры.

Предлагал полиции попробовать. Когда его везли в тюрьму, он жаловался на голод.

Уверял, что он никому не желает зла.

Снабжение плохое, говорил людоед, вздыхая, даже на фронте кормили лучше.

На фронте он был, как и многие другие мужчины города — поваром. Некоторые впрочем, были радистами. Телефонистами. Специалистами по камуфляжу.

Конюхами.

Шоферами. Врачами-дантистами. Наблюдателями.

Никто никого не убивал.

И не съедал.

Не то, что в мирное время.

...

В этом доме жил тридцать пятый, если считать справа налево, городской почтальон.

Он никого не обижал, он только разносил почту в отведенном ему районе.

Звонил в дверь, ему открывали, он отдавал почту и уходил.

И никого не обижал.

Иногда он оставался поболтать с симпатичными кумушками, жительницами тридцать пятого почтового района города.

Обсуждал с ними последние городские новости и погоду, иногда даже выпивал чашечку невкусного бобового кофе.

А потом... уходил восвояси.

И никого никогда и пальцем не тронул.

А ему ведь так хотелось.

...

А в этом заколоченном доме жил продавец золотых рыбок.

Он не ел человеческое мясо, не разносил писем и не насиловал мертвых двоюродных сестер.

Он разводил и продавал золотых рыбок.

А в свободное от работы время он пел старинные немецкие песни.

...

На этой площади я упал в обморок.

Каждый раз, когда я проходил по этой площади по пути в магазин Кайзер, я думал, только бы в обморок не упасть.

И однажды... упал.

Посмотрел на картинку, нарисованную на стене и брякнулся.

Разглядел в нарисованных облаках моего близнеца.

Он кивнул одной из голов и показал мне свой раздвоенный язык.

А я упал от страха в обморок.

...

На внешней стене библиотеки кто-то приклеил плакат.

От дождя и солнца плакат потерял свои краски.

Невозможно было понять, что же на нем изображено.

Потом кто-то, неизвестно зачем, вымазал плакат сажей.

А затем случилось чудо — на плакате само собой показалось лицо покойной директрисы городской библиотеки.

Директриса долго смотрела своими мертвыми глазами в небо, а потом исчезла так же внезапно, как и появилась. Должно быть обиделась на рисующих граффити подростков. У нее и во время жизни с подрастающим поколением отношения не складывались. А уж после смерти...

...

У этой старой кирпичной стены кого-то когда-то расстреливали.

Или пыряли ножами.

Или пытали.

Пытали, а потом насиловали.

Или — наоборот, вначале насиловали, потом пытали.

А ножами не пыряли вовсе.

И расстреливали.

А может быть — ничего не делали.

Разве что какой паршивый кобель помочился на эту отвратительную стену.

...

Они жили вместе почти шестьдесят лет. Растили детей, работали, любили, отдыхали.

Потом умерли. Вначале старушка, потом — старик.

После смерти они очнулись, как после тяжелого сна, в океане. На надувных матрасах.

Океан был спокоен, вокруг них тихо плескались крохотные ласковые волны.

Солнце не жгло, ветра не было, сквозь прозрачную голубую водичку было хорошо видно покрытое разноцветными камешками дно. В воде не было ни рыб, ни медуз, в воздухе не было птиц, в небесах цвета желтого опала не было видно ни облачка.

Он увидел ее, она увидела его. И они улыбнулись друг другу беззубыми ртами.

А затем они легли на своих матрасах на свои старые, морщинистые животы и стали отчаянно быстро грести руками. Как бабочки или стрекозы, попавшие в

воду.

Они сбивали воду в пену и эта пена покрыла поверхность воды желтоватым ковром.

Они плыли в разные стороны. Через несколько минут они потеряли друг друга из виду.

...

Просторный классный зал. Столы.

За столами сидят люди.

Они молча пишут что-то в серых тетрадях. Тишина нарушается только монотонным голосом учительницы, скрипением стульев, кряхтением, вздохами.

Я тоже сижу за столом. Передо мной лежит тетрадь и синяя шариковая ручка с обгрызанным концом. Кто его обгрыз?

Почему мне страшно?

Во сне думать трудно.

Я не знаю, кто я.

Не знаю, мужчина я или женщина, мальчик или старуха.

Гляжу во сне на свою руку. Рука как рука, без свойств, без возраста. Как будто и не моя.

В классе высокий потолок. Слева и справа просторный белый коридор. С небольшими белыми дверями. Больница?

Учительницу не видно. Между мной и ней стоят казенные шкафы. Огромные, почти до потолка, из массивного дерева. Что в них? Какие-то старые папки.

Истории болезни?

Я вслушиваюсь, пытаюсь понять, что говорит учительница.

Не понимаю ни слова.

Это не человеческая речь, а мышинный писк, сопенье...

Что же пишут в тетрадках мои соседи?

Спросить что ли кого?

Рискованно. А вдруг он или она встанет, покажет на меня пальцем и громко завизжит? Тогда все поймут, что я — чужак. И набросятся скопом.

Решаюсь потревожить тучную женщину в лиловом платье, сидящую передо мной. Осторожно дотрагиваюсь указательным пальцем до ее плеча.

— Извините, что вы пишете?

Женщина поворачивается ко мне.

О, Боже! Это не одна женщина, а две. Сиамские близнецы, сросшиеся лицами, похожими на лицо

несчастной Фриды Кало. Три глаза и два рта. Они возмущены моей дерзостью. Они грозно хмурят густые сросшиеся черные брови, их напомаженные губы дергаются в припадке справедливого гнева.

Близнецы пытаются говорить. Но выдавливают из себя только шипение и хрип.

Они отворачиваются и принимаются писать дальше.

Одной правой рукой. Остальные руки — маленькие, уродливые — висят как плети поверх платья, в которое всунуты два пухлых сросшихся тела.

Обращаюсь к сидящему справа от меня мужчине, похожему на ворону.

— Простите, что вы пишете?

Он поднимает голову.

В его больших воспаленных глазах смятение. Он бормочет: Оставьте меня в покое! Кар-кар... Я записываю слова учительницы. Не мучайте меня! Я готов на все. Возьму любую работу. Могу ползать у вас под мышками после уроков, только не мешайте мне писать. У меня слабая память, не могу ничего запомнить.

Я должен аккуратно записать все, что скажет мадам Лили. А вечером я постараюсь выучить записанное наизусть. Буду долдонить всю ночь. Что-нибудь, да останется! Да, да, вы смеётесь. Вы хотите помешать мне, а потом, когда я срежусь, вы

будете торжествовать. Стыдитесь. Пишите. Пишите, как все! Кар-кар-кар...

...

Четырнадцатилетний сын моих венских знакомых Лютц рассказал, что по их школе ходят видеокассеты с фильмами, нелегально отснятыми во времена фашизма в концентрационных лагерях. Любители садизма снимали стоящих в газовых камерах голых женщин и детей до пуска газа и после. Через стеклянные окошки в дверях.

Я спросил Лютца: Ты видел сам?

— Да, да...

— Тебе не было страшно?



– Нет, меня же никто не трогал.

– Тебе было их жалко?

– Нет.

– Ты онанировал, когда смотрел?

Лютц вначале не отвечал, но когда я заверил его, что ничего не скажу его родителям, выдал из себя: Да. Да. Это было здорово и быстро. Я кончал, когда они все там обсирались...